

Николай Чувковский

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Константин Константинович Вагинов был одним из самых умных, добрых и благородных людей, которых я встречал в своей жизни. И, возможно, один из самых даровитых. То, что он писал, было в свое время известно только очень узкому кругу, а сейчас не известно никому. Виною этому был он сам, — он не старался быть понятным. Его не понимали даже в том небольшом петербургском литературном кружке, к которому он принадлежал. Там его считали заумником, чем-то вроде Хлебникова, хотя он в действительности был глубоко чужд всякой зауми, и все, что он писал, было полно смысла и разума. Он просто чувствовал себя отъединенным от всего и всех и излагал свои мысли так, что они обычно оставались понятными лишь для него одного. Не только его стихи, но и его романы представляют собой как бы криптограммы, как бы зашифрованные документы, причем ключ от шифра он не дал никому. Все это производит впечатление чудачества, хотя он вовсе не был чудачком или, вернее, был чудачком поневоле. Ощущение отъединенности, о котором я говорил выше, коренилось в его большом, очень своеобразном уме, во врожденной замкнутости его духовной жизни, в особенностях его образования и, главное, в его судьбе.

А судьба его была сложная хотя бы уже потому, что он был сыном жандармского полковника и крупнейшего домовладельца.

В девяностые годы прошлого века его отец, тогда жандармский ротмистр Вагенгейм служил в Сибири, в Енисейске и там начальствовал над ссыльными. Он был лихой танцор, и ему удалось просватать первую невесту Сибири — дочь богатейшего золотопромышленника, городского головы Енисейска. Женившись и получив громадное приданое, Вагенгейм перевелся по службе в Петербург и купил большой доходный дом позади Мариинского театра. В этом доме, в бельэтаже в последнем году девятнадцатого столетия родился Константин Вагинов.

Вскоре сибирский дед его умер, и семья Вагенгеймов унаследовала несметные богатства. Жандармский ротмистр стал жандармским полковником и процветал вплоть до семнадцатого года. В четырнадцатом году, когда началась война с немцами, он, подобно многим другим жандармам и чиновникам немецкого происхождения, подал «на высочайшее имя» прошение об изменении фамилии на русскую. Отсюда и родилась эта нелепая фамилия — Вагинов.

В автобиографическом романе *Козлиная песнь* Константин Вагинов так описывает кабинет своего отца:

В шкафах помещались великолепные книги: приложения к «Ниве», страшнейшие романы Крыжановской, возбуждающий бессонницу граф Дракула, бесчисленный Немирович-Данченко, иностранные беллетристы на русском языке. Были и научные книги: «Как устранить половое бессилие», «Что нужно знать ребенку», «Трехсотлетие Дома Романовых».

В десять часов вечера отец облакался в форму, лушился и уезжал в клуб.

В соседней комнате, в гостиной, мать играла «Молитву девы» (*Kozliinaia pesn'*. New York: Silver Age, 1978, 16-17. Henceforth KP).

Маленький Костя, мальчик хилый, не умеющий ни бегать, ни играть, жил на попечении денщика, накрапленной горничной Маши и гувернера. Он не бегал, не играл, все, происходившее в семье, было ему чуждо, и жил он исключительно умственными интересами. С десяти лет пристрастился он к нумизматике — коллекционированию старинных монет. Нумизматика привела его к археологии, к изучению древней и средневековой истории. История привела его к поэзии.

Вот как в той же *Козлиной песне* он описывает свои детские походы за монетами.

После завтрака будущий неизвестный поэт пошел с гувернером в банкирскую контору Копылова. Копылов издавал журнал «Старая монета». У него в конторе стояли небольшие дубовые шкафики с выдвижными полочками, обитыми синим бархатом, на бархате лежали стратеры Александра Македонского, тетрадрахмы Птолемея, золотые, серебряные динарии римских императоров, монеты Босфора Киммерийского, монеты с изображениями: Клеопатры, Зенобии, Иисуса, мифологических зверей, героев, храмов, треножников, трирем, пальм; монеты всевозможных оттенков, всевозможных размеров, государств — некогда сиявших, народов — некогда потрясавших мир или завоеваниями, или искусствами, или героическими личностями, или коммерческими талантами, а теперь несуществующих. Гувернер сидел на кожаном диване и читал газету, мальчик рассматривал монеты. На улице темно. Над прилавком горела лампочка под зеленым колпаком. Здесь будущий неизвестный поэт приучался к непостоянству всего существующего, к идее смерти. Вот, вознесенная шейей, Голова Гелиоса, с полуоткрытым, как бы поющим ртом. Вот храм Дианы Эфесской и голова Весты, вот несущаяся Сиракузская колесница, а вот монеты варваров, жалкие подражания, на которых мифологические фигуры становятся орнаментами, вот и средневековые, прямолинейные, фантастические, где вдруг, от какой-нибудь детали, пахнет, сквозь иную жизнь, солнцем (КР, 15-16).

Гувернер научил маленького Вагинова французскому языку. Но тому для его занятий французского языка было мало. Двенадцать лет он увлекся эпохой Возрождения и для того, чтобы читать в подлиннике Данте, Петрарку, Ариосто, он изучил итальянский язык.

Для семьи жандармского полковника катастрофой была не только Октябрьская революция, но даже февральская. Перепуганный отец, ежеминутно ожидая расправы, провел лето семнадцатого года где-то в бегах. Он вернулся домой только перед самым Октябрем. Но если февраль был для него катастрофой, так сказать, служебной, то Октябрь был для него еще и имущественной катастрофой, то есть предельной, безвыходной. Дом был национализирован, и все наследство, полученное от енисейского золотопромышленника, конфисковано до последней копейки.

Что их спасло — не знаю. Вероятно, прежде всего — случайность. И небывалый испуг.

Это были люди, задавленные страхом. Они даже не помышляли протестовать или сопротивляться. За годы Гражданской войны и позже родители Вагинова не сделали ни одной попытки уехать к белым или в эмиграцию. У них было только одно стремление — забиться как можно глубже в щель, чтобы их не заметили. Они избегали не только знакомых, но и всех людей, чтобы их не могли

обвинить в каких-нибудь предусмотрительных сношениях и разговорах. Они не пытались устроиться на работу, боясь, что их спросят, кто они такие, и потому не получали никаких карточек. В своем бывшем громадном доме, в своей бывшей громадной квартире они занимали маленький дальний угол и почти не покидали его. Иногда мать, взяв какую-нибудь уцелевшую вещь, бежала глухими переулками на рынок — продавать. Тогда она приносила домой немного хлеба. Если на улице валялась дохлая лошадь — что случилась тогда нередко, — она, вооружившись большим ножом, подкрадывалась к ней ночью и вырезала кусок мяса. Гол-лод терзал их, но еще больше терзал их никогда не прекращавшийся страх.

Между ними и их сыном не было ничего общего. Он жил с ними, он разделял с ними все их невзгоды, разделял даже их страх, но к тому, что происходило вокруг — к революции, — он относился совсем иначе, чем они.

Революция он воспринимал, как исполинскую катастрофу, трагическую и прекрасную в своей величавости. Как катастрофу, подобную гибели язычества и античной философии в прежнее века христианства. Как катастрофу, подобную гибели загливающей Римской империи под натиском юных варварских племен, наивных, невежественных, но несущих в одряхлевший мир свою животворную кровь. Как катастрофу, несущую освобождение. И не только народу, который он представлял скопищем полудиких дюдей, никогда не читавших Данте и не умевших отличить рококо от барокко, но и ему самому. Разве революция не освободила его от гувернера, от гимназии, от «Молитвы девы», от ханжеской морали, от всей тупости и подлости чиновничье-полицейской среды?

Он сразу воспользовался своим освобождением. Целые дни и целые ночи проводил он на улицах. В угрюмый угол к своим запуганным и одичавшим старикам он возвращался только когда доходил до полного изнеможения. Он бродил один по улицам пустеющего голодного города, влюбляясь в его небывалую архитектуру. Когда город пустеет, архитектура его выступает особенно отчетливо. Архитектура Петербурга своей грандиозностью и цельностью несравнима с архитектурой никакого другого города в мире. Он подчиняет своим величавым законам не только здания, но и все небо над ними, и всю воду меж ними, — все, видимое взору. Великолепнейшая трагическая сцена для великолепнейшей грозной трагедии, которая развивалась у Вагинова на глазах. Как гонимый вихрем, кружил он опять и опять по проспектам и площадям, и скопище домов казалось ему флотом, качаемым бурной волною. Он был свободен, но не только свободен. Он был глубочайше одинок. С побежденными он порвал все связи, победители были ему неизвестны и чужды. Во время своих ночных блужданий он познакомился с девушкой Лидой, блуждавшей по городу подобно ему, и они стали блуждать вместе. Лида была профессиональной проституткой семнадцати лет. В ней было что-то странное, какая-то неестественная возбужденность, удивлявшая и поражавшая его. Мало-помалу он узнал, что она кокаионистка.

Это взволновало его, потому что он читал Де Квинси о курильщике опиума, который своими видениями украсил и преобразил мир. Она угостила его белым порошком, и он стал нюхать, потому что любил ее, и ему казалось что это сближает его с нею. Но белого порошка постоянно не хватало, его нужно было каждый день доставать. В то время на Невском, между Лигонкой и Николаевской, в

подвале, была большая общественная уборная. В этой уборной по ночам собирались продавцы марафета. Каждую ночь приходил туда Вагинов с Лидой и покупал новую порцию белого порошка. За порошок нужно было платить, и он расплачивался золотыми монетами из своей нумизматической коллекции — стратерами Александра Македонского и тетрадрахмами Птоломеев. Он стал кокаином, не мог уже без кокаина обходиться и оправдывал свое поведение теорией, что пьянство не наслаждение, а метод познания. Вот как он описывает в *Козлиной песне* одну свою ночную встречу с Лидой на Невском:

Шел дождь мелкий, косой. На ступеньках подъезда, разложив подаренные им ей в прошлую ночь атласные карты, сидела Лида, прислонившись к дверям. Она дремала, полураскрыв рот. Неизвестный поэт сел рядом, посмотрел на ее девичье лицо, на тающий снег вокруг, на часы над головой, достал белое, искрящееся из кармана, отвернулся к стене, особое звучание, похожее на протяжное «о», переходящее в «а», казалось ему, понеслось по улицам. Он видел — дома сузились и огромными тенями пронзили облака. Он опустил глаза, — огромные красные цифры фонаря мигают на панели. Два — как змея, семь — как пальма.

Разложенные карты притягивают его глаза. Фигуры оживают и вступают с ним в безусловное соотношение. Он связан с картами, как актер с кулисами; он быстро будит Лиду и, по странной иронии, начинает играть с ней в дурачки; пятерки карт дрожат в их руках, пока в глазах не темнеет, ветер мешает, они отворачиваются к стене; дождь переходит в порхающий мягкий тающий снег. Они защищены навесом.

Карты ему кажутся ужасом и пустотой. Скоро начнет просыпаться город.

— В чайную, в чайную скорей! — говорит Лида, — я совсем застыла за эту проклятую ночь! Неужели ты не мог прийти раньше и увести меня в гостиницу? Я бы проспала как убитая! Я ведь третью ночь на улице! Нет ли у тебя денег, может быть, мы найдем пустую комнату.

— Что ты, Лида! в пять часов все гостиницы переполнены, нас никуда не впустят!

— Тогда идем скорей, скорей в чайную. Меня мучит тоска. Боже мой, скорей, скорей идем в чайную!

Он посмотрел на ее совершенно белое лицо, на расширенные зрачки; сколько внутренних лет сидит он здесь, что означает фонарь, что знаменует собой снег и что значит он, появившийся на проспекте?

Цветы любви, цветы дурмана...

неожиданно запела Лида, отступив от подъезда. Проходил какой-то забулдыга; он посмотрел на них иронически. Неизвестный поэт и Лида, сквозь завесу колючего снега, пошли. Карты лежали забытые на подъезде.

Ночная чайная гремела. Проститутки в платках, в ситцевых платьях, смотрели нагло и вызывающе. На бледных лицах непойманных воров мигали глаза и бегали по углам, на круглых столах стоял чай, невыносимого, как зря, цвета (КР, 18-19).

В ту зиму, зиму 1917-18 годов, в Петрограде еще были чайные. К весне они закрылись.

Вагинов погиб бы от кокаина, но его спасла мобилизация в Красную Армию. Красноармейцем он сражался против белополяков, потом в Сибири с Колчаком. Далеко за Уральским хребтом он заболел сыпным тифом и попал в госпитал.

После госпиталя его демобилизовали, и он вернулся к родителям, в Петроград — в самую голодную пору.

Все это он описал в стихотворении «Юноша»:

Помню последнюю ночь в доме покойного детства:
Книги разодраны, лампа лежит на полу.
В улицы я убежал, и медного солнца ресницы
Гулко упали в колкие плечи мои.

Нары. Снега. Я в толпе сермяжного войска.
В Польшу налет — и перелет на Восток.
О, как сияет Китайское мертвое солнце!
Помню, о ней я мечтал в тихие ночи тоски.

Снова на родине я. Ем чечевичную кашу.
Моря Балтийского шум. Тихая поступь ветров.
Но не откроет мне дверь насурмленная Маша,
Стаи белых людей лошадей грызут при луне.

(*Sobranie stikhotvoreniia*, (München: Verlag Otto Sagner, 1982), 68.
Henceforth SS.)

Я увидел его впервые осенью 1920 года в Студии Дома искусств на семинаре Гумилева. Небольшого роста, худой, сутулый, одет он был в красноармейскую шинель. На ногах — обмотки. Черные до блеска волосы расчесаны на косой пробор. Умное, узкое, костистое лицо с крупным носом. Несмотря на молодость (ему тогда было 20 лет), у него не хватало многих зубов, и это очень безобразило его рот. На подбородке глубокая ямка, расположенная асимметрично и кривившая все его лицо. Гумилев и все мы, участники семинара, сидели, а он стоял и глуховатым голосом читал свои стихи. Из-за отсутствия зубов он слегка щелелявил.

Помню, стихи мне понравились хотя я не понял тогда в них ни слова. Они мне понравились своим звуком, в них было то, что Мандельштам называл «стихов виноградное мясо». Гумилев слушал внимательно, серьезно, и, выслушав, многозначительно (пропуск в списке); однако я не сомневаюсь, что и он не понял ни слова. Остальные тоже не поняли и тоже одобрили. Была в этих стихах какая-то торжественная и трагическая нота, которая заставляла относиться к ним с уважением при всей их непонятности.

С этого дня Костя Вагинев стал посещать Студию, семинар Гумилева, и следовал нашим всеобщим приятелем. Его все полюбили, да и нельзя было его не полюбить: такой он был мягкий, деликатный, вежливый, скромный и внимательный к каждому человеку. Со всей литературной молодежью он перешел на ты. К творчеству товарищей относился он дружелюбно и доброжелательно: он всегда беспокоился, что кто-нибудь обижен, и старался поддержать и обласкать обиженного. «Количка», «Фридошка», «Адошка» называл он своих приятелей и приятельниц, и в этом не было ни малейшей фальши. Я был близок с ним 14 лет, до его смерти, и знаю, что он нежно любил своих друзей. При этом он был человек

насмешливый, хорошо видевший слабости и недостатки ближних; впрочем, это его свойство проявилось позднее.

К нему тоже все относились прекрасно, и в Доме искусств он скоро стал заметным явлением. Гумилев принял его в Цех Поэтов. Приняли его и в Союз Поэтов. Когда из семинара Гумилева организовалась «Звучащая Раковина», он стал членом и «Звучащей Раковины». Осенью 1921 года Сергей Колбасев, привезенный Гумилевым из Севастополя, организовал вместе с Николаем Тихоновым группу «Островитяне». Третьим членом группы был Вагинов. Они втроем выпустили сборничек стихов «Островитяне» (Петроград: 1921). Я в своих «Ущелкуйниках» (Петроград: 1922) тоже напечатал Вагинова. Печатался он и в сборниках «Цеха Поэтов» (по 3, Петроград: 1922), и в изданиях «Звучащей Раковины» (Петроград: 1922). Вообще он давал стихи всем, кто хотел их печатать, читал их с любой эстрады и в любом доме, куда его звали. Со всеми он был ровно мягок, удивительно вежлив, уважителен, доброжелателен, но не сливался ни с кем. Всюду он стоял особняком. Он никогда не защищал никаких групповых взглядов, никому не подражал, ни под чьим влиянием не находился, и писал стихи так, как будто рядом с ним не было ни Гумилева, ни Блока, ни Ахматовой, ни Маяковского, ни Мандельштама, ни Хлебникова, ни Ходасевича, ни Кузмина, ни Тихонова. Его стихов не понимали, но это несколько его не беспокоило, — он просто не устаивал делать их понятными.

Гумилев, любивший во всем регламентацию и относивший любого, даже самого ничтожного и безличного стихотворца к какой-нибудь школе, объявил Вагинова символистом. И Вагинов с этим соглашался, хотя с русским или, скажем, с французским символизмом стихи его не имели ничего общего. Он был символистом оттого, что стихи его с помощью условных символов опирались на грандиозный всемирно-исторический миф, им самим созданный. Он писал стихи, как бы исходя из предположения, что миф этот известен всем. А, между тем, он никому не был известен, и мне лишь со временем не без труда удалось его разгадать.

Вагинов считал, что победа революции над старым миром подобна победе христианства над язычеством, варваров над Римской империей. Победу эту и считал благотворной и справедливой, но, вместе с тем, и глубоко трагичной. Трагедию он видел в том, что вместе с рабовладельческим строем Римской империи погибла и античная культура.

Впрочем, в целом его миф был оптимистическим. Он полагал, что культура подобна мифологической птице Феникс, которая много раз сгорает на огне и потом возрождается из пепла, и, следовательно, бессмертна. Пример этого — возрождение культуры в конце средних веков, в эпоху Ренессанса. Поэтому, существует задача: тайно донести подлинную культуру до нового возрождения Феникса. Люди, на долю которых пало выполнение этой задачи, обречены на полное непонимание, на оторванность от всего окружающего и живут почти призрачной жизнью. Он писал:

Мы, эллинисты, здесь толпой
В листе шумящей, вдоль реки,
Порхаем, словно мотыльки.
На тонких ножках голова,

На толких печках синева.
 Блестящ и звонок дам наряд,
 Фонтаны бьют, огни горят,
 За парой парюю скользим
 И впереди наш танцевод
 Ступает задом наперед.

(SS,166)

Птица Феникс влекла его неудержимо. Он постоянно слышал ее зов:

От берегов на берег
 Меня зовет она,
 Как будто ветер блещет,
 Как будто бьет волна.
 И с птичьими ногами
 И с голосом благим
 Одета синим светом
 Садится предо мной...

(SS,168)

Тем местом, где клытура должна была возродиться, по его убеждению, был Петербург. Он говорил:

В стране гипербореев
 Есть остров — Петербург,
 И музы бьют ногами,
 Хотя давно мертвы.

(SS, 168)

Он утверждал, что при смене религий боги прежней религии становятся чертями новой. Так как революцию миф его рассматривал как смену религий, то он полагал, что все деятели и защитники старой культуры будут теперь, в глазах новых людей, чертями. «Ты в черных нас не обращай!» — молил он в одном стихотворении (SS, 114).

Кроме Феникса был в его мифологии еще и Филострат. Это был весьма неясный образ прекрасного античного юноши с мидалевидными глазами, кочевавший их стихотворения в стихотворение, а из стихотворений попавший и в первый роман Вагинова. В Вагиновском мифе Филостат — любовник Психеи, т.е. души. Это особенно отчетливо выражено в стихотворении, которое так и называется — «Психея»:

Сплет брачный пир в просторном мертвом граде,
 И узкое лицо целует Филострат.
 За ней весна свои цветы колышет,
 За ним заря, растущая заря.
 И снится им обоим, что приплыли
 Хоть на плотах сквозь бурю и войну,

На ложе брачное под сению густую,
В спокойный дом на берегах Невы.

(SS, 137)

Конечно, Психея — душа самого Вагинова, и поэтому иногда кажется, что образ Филострата сливается с образом автора. Тем более, что Филострат был, разумеется, символом того самого подвижника-гуманиста, которому суждено втайне пронести культуру сквозь сумрак нового средневековья до счастливого мига возрождения птицы Феникс. Однако слияние это только кажущееся. Образ автора живет в произведениях Вагинова совершенно независимо от образа Филострата. Вагинов изображает себя самого в виде жалкого уродца с перепонками между пальцами шестипалых рук (КР, 177, 194). В действительности он вовсе не был уродом и руки имел самые обыкновенные, но таким он входил в свой собственный миф. Изображая себя уродом, он старался выразить болезненное ощущение своего разлада с окружающим его миром, мучительного разлада, которым он тяготился чем дальше, тем больше.

Миф, созданный им в годы Гражданской войны, оставался почти неизменным, но отношение его к собственному мифу резко и очень любопытно менялось. Первое изменение произошло в начале НЭПа, к которому Вагинов отнесся с резкой враждебностью.

Вокруг введения НЭПа — в стране, а также и в партии — шла ожесточенная борьба. Ленинское понимание НЭПа как меры, необходимой для поднятия народного хозяйства и укрепления союза рабочих с крестьянами, как меры, дающей возможность перестроить ряды и вести революцию дальше, разделялось не всеми. Очень многие поняли НЭП как отступление и даже как поражение социализма. Все мещанство возликовало по этому поводу и преисполнилось надежд. Оно приветствовало НЭП буйно, захлебываясь от восторга. Среди людей, любивших революцию и веривших в нее, тоже было немало таких, которые приняли НЭП за поражение. Эти люди страдали, негодовали, мрачно относились к ближайшему будущему, тосковали по годам Военного коммунизма.

Любопытно, что к числу этих людей, кригиковавших НЭП, так сказать, «слева», относился и Вагинов. Именно в годы НЭПа проявилась его ненависть к тупому реакционному мещанству, среди которого прошло его детство. Нищие годы Гражданской войны были для него годами полнейшей духовной свободы, неприкрепленности ни к какому быту, несвязанности никакими узами. Этот мир, свободный для людей мечты, казавшийся ему грандиозным, фантастическим и прекрасным, безытным, вдруг опять наполнился бытом, стал узеньким, маленьким. И он оплакивал происшедшую перемену:

Не лазоревый дождь,
И не буря во время ночное,
И не бездна вверх,
И не бездна вниз.
И не кажутся флотом,
Качасмым бурной волною,
Эти толпы домов
С перепуганным отблеском лиц.

Лишь у стекол герань
 Заменяла прежние пальмы,
 И висят занавески
 Вместо тяжелых портьер.
 Да еще поднялись
 И засели за книгу,
 Чтобы стала поменьше,
 Поужнее жизнь...

(SS, 169)

Вот тут и начали появляться в его мифе первые изменения. Прежде всего в мифе, — наряду с Филостратом, птицей Феникс, Психеей, — возник новый персонаж — Тептелкин. Этот загадочный Тептелкин начал в вагиновских стихах вести беседы о грядущем воскресении птицы Феникс. Впрочем, Тептелкин был не вполне загадочен: в кружке друзей Вагинова скоро догадались, что это общий знакомый Лев Васильевич Пумпянский, литературовед, историк и философ, знаток новых и древних европейских языков, человек поразительной эрудиции.

Льва Васильевича Пумпянского я тоже знал хорошо. В течение нескольких месяцев он преподавал у нас в Тенишевском училище историю русской литературы, и преподавал превосходно. Потом я неоднократно слышал его доклады и выступления на разных собраниях. Это был тощий, длинный, сутуловатый человек лет около тридцати, мягкий, кроткий, очень вежливый. Говоря, он пришепывал и присвистывал, — впрочем, весьма приятно. Однако мягкость и кротость не мешала ему — вплоть до 1925 года — относиться к революции резко враждебно. Чтобы не произносить слова «товарищи», он все свои публичные выступления начинал словами: «Уважаемое собрание!» Через года-два после окончания школы я стал брать у него уроки французского языка. Я приходил к нему три раза в неделю, и мы читали с ним вместе *Les fleurs du mal* Бодлера. Но занятия шли довольно плохо, потому что большую часть отведенного на урок времени он занимал меня разговорами о «метаспсихике». «Метаспсихикой» он называл особое мистическое учение — нечто среднее между теософией и спиритизмом. Он убежденно рассказывал мне, что по ночам души людей, превращаясь в «астралы», перелезают из тела в тело. Рассказывал он мне также, как с помощью метаспсихической интуиции было раскрыто напугавшее тогда уголовное дело — убийство богатой наемщицы мадам Шаскольской, владелицы магазина готового платья на Невском. Он в тот год свято верил во всю эту чепуху, хотя по-своему был человек тонкий и умный.

Пумпянский был пылким поклонником стихов Вагинова. В ненапечатанной вагиновской поэме «1925 год» Тептелкин разговаривал с Филостратом, и разговор этот безусловно передает подлинные разговоры между Пумпянским и Вагиновым. Вот что, между прочим, там говорит Тептелкин:

Поете вы,
 Как должно петь, темно и непонятно.
 Игрою слов пусть назовут глупцы
 Ваш стих. Вы притворяетесь
 Искусно. Не правда ли,

Безумие как средство изобрел
Наш старый идол Гамлет.

(SS, 111-112)

Таков был Пумпянский до осени 1925 года. Осенью, в течение одного месяца, с ним произошел крутой поворот — он стал марксистом. Произошло это не без некоторого шума: целому ряду своих старых друзей написал он письма, в которых рассказывал о случившейся с ним перемене и просил с ним больше не знаться, потому что они идеалисты, фидеисты и мракобесы. Написаны письма эти были тоном раздраженным, в выражениях оскорбительных. Нужно сказать, что этот кроткий, учтивейший человек порой и прежде писал резкие оскорбительные письма людям, которых по своей болезненной мнительности считал своими обидчиками, хотя те и не помышляли его обижать. Но тогда поводом для писем были причины личные, а не идейные. Теперь же он проделал то же самое по идейным причинам. С непостижимой быстротой прочел он всю марксистскую литературу, и не только прочел, но и запомнил, потому что память у него была удивительная. Все дальнейшие его доклады и выступления — после идейного переворота — были переполнены цитатами из классиков марксизма. Он как-то мгновенно, без всяких переходов, превратился в готового ортодокса, в типичнейшего начетчика и цитатчика.

В вагиновский миф вошел Тептелкин, и сразу же отношение Вагинова к мифу изменилось. Прежде всего вдруг получилось так, что миф этот вовсе не вагиновский, а тептелкинский. Это Тептелкин стал проводником идеи, что революция — новое средневековье, и что заступники культуры должны укрыться в башне или в пещере, чтобы дожидаться там возвращения птицы Феникс из пепла. Это Тептелкин, а не Вагинов, мечтает о том, что румынский премьер Авереску едет в Рим к Муссолини, и там эти два вождя латинских народов строят планы как восстановить древнюю Римскую империю в ее прошлых границах. Вагинов изображает Тептелкина обывателем, мешанином и простофилей, и таким образом весь миф о противопоставлении культуры и революции вдруг стал обывательским и дурацким. На стороне Вагинова из всего мифа остался один Филострат, возлюбленный Психеи, относящийся к Тептелкину с глубоким презрением.

Битва Вагинова с Тептелкиным отражена не столько в его стихах, сколько в его прозе — в романе «Козлиная песнь». Роман этот был издан в 1928 году ленинградским издательством «Прибой» в количестве 3000 экземпляров и больше не переиздавался. Но нам, друзьям Вагинова, он был по частям известен и раньше, с 1924 года, когда Вагинов только начал работать над ним. Написав очередную главу, Вагинов шел читать ее по знакомым ленинградским квартирам. Главу за главу в течение трех лет читал он у Коли Тихонова, у Наппельбаумов, у меня, у Кузмина, у Бенедикта Лившица, у Федина, у Шкапской и, несомненно, у многих других. Некоторые главы я слышал в его чтении по несколько раз, так как слушатели переходили вместе с ним из квартиры в квартиру. Слушали его с волнением, с жадным любопытством, потому что то, о чем он писал, живо касалось всей той среды, в которой мы жили.

Конечно, интерес отчасти был и просто сплетнический, так как в романе изображались хорошо знакомые нам лица, хотя и зашифрованные намеренными ис-

кажениями, но для нас легко узнаваемые. Например, действие романа происходит вскоре после смерти известного поэта-путешественника Александра Петровича Заэффратского, в котором нетрудно было отгадать Николая Сепановича Гумилева. Выведен в романе и страстный почитатель творчества покойного Заэффратского некий поэт Миша Котиков, несколько странным способом собиравший факты из биографии своего любимого мэтра, и в Мише Котикове мы узнавали Павла Лукницкого. Разумеется, мы все знали, что поэт Троицын, похитивший для своей коллекции «поэтических предметов» галстук у покончившего с собой Есенина — наш общий приятель Всеволод Рождественский. И уж конечно нам всем было ясно, что главный герой романа Тептелкин никто иной, как Лев Васильевич Пумпянский: позже всех об этом догадался сам Лев Васильевич.

Но не это сплетническое любопытство было главным, что привлекало нас к вагиновскому роману. Нас влекло острое, верное, новое изображение тех внутренних идейно-психологических процессов, которые происходили в среде рафинированной, но по существу мешанской художественной интеллигенции во второе пятилетие существования советской власти. «Козлиная песнь» — один из первых романов в нашей литературе о так называемой «перестройке интеллигенции». Книг на эту болезнью для интеллигенции тему немало появилось в конце двадцатых и в начале тридцатых годов; но среди этих книг «Козлиная песнь» стоит особняком, потому что написана она изнутри, а не извне, потому что все, о чем в ней рассказывается, происходило с самим автором, и не прежде, а как раз тогда, когда он писал свою книгу. Автор отказывался в ней от самых драгоценных своих заблуждений: недаром назвал он свой роман «Козлиной песнью», что является переводом на русский язык [греческого] слова «трагедия».

Я прочитал эту книгу в 1959 году, через тридцать один год после ее появления в свет. Я принялся читать с боязнью и, в сущности, без особой надежды, — слишком много книг, волновавших когда-то, при пересчитывании через десятилетия поражали своей бледностью, скудностью. Но я читал, и прежнее волнение, — правда, не столь уж сильное, но зато окрашенное какой-то новой мягкой грустью, — охватило меня. Конечно, я заметил и нестойкость, и нежную претенциозность стиля, портящую столь многие книги того времени, и все же книга эта показалась мне значительной, умной, не потерявшей свою остроту, совершенно живой и сейчас. Читая ее, я подумал, как богата советская литература, насколько она богаче, чем принято думать, сколько в ней произведений, забытых незаслуженно, по причинам, в сущности, случайным. Вагинов написал жестокий, беспощадный памфлет о мешанстве, причем о мешанстве наиболее стойком и трудноуязвимом, потому что оно рядится в одежды защитников высших культурных ценностей человечества. Кружок, в котором царствует Тептелкин со своими мечтами о возрождении Феникса и восстановлении древней Римской империи, казалось бы, насквозь духовен и имеет полное право с надменным презрением взирать на все, что совершается вокруг. Но величие их мнимо, как мнима их причастность к подлинной культуре. Читаешь главу за главой, и все отчетливее видишь, что этот возвышенный кружок — сборище жалких и злых обывателей. Эта книга против мешанства, и мешанство остается в ней непообежденным, потому что Тептелкин не перестает быть мешанином и тогда, когда, переменяя свои идеалы, поступает на советскую службу и начинает ходить по вечерам в гости к

советским работникам. Мещанство осталось в книге непобежденным, потому что оно не было еще побеждено тогда и в жизни. Да ведь не побеждено оно в мире еще и сейчас, через тридцать с лишним лет. Все предрассудки, — которые Вагинов прежде всего победил в себе самом, — предрассудки, противопоставляющие революцию культуре и культуру социализму, живы еще в разных концах нашей планеты, и не только дальних, но и ближних, и «Козлиная песнь» — трагедия — могла бы служить против тех тем более сильным оружием, что она написана с муками и сомнениями.

Конечно, Лев Васильевич Пумпянский в конце концов узнал себя в Тептелкине и ужасно рассердился. Он перестал раскланиваться с Вагиновым и написал ему яростное письмо, полное гнева и брани. Он утверждал, что Вагинов оклеветал его, что он не Тептелкин и; пожалуй, по-человечески, он был прав. Вагинов, стремясь к художественной определенности и четкости образа, многое изменил и придумал; Тептелкин значительнее, чем был Пумпянский, и в то же время Пумпянский, человек очень искренний, трудолюбивый, подлинно образованный, вовсе не был так законченно пошл, как Тептелкин. В тридцатые годы, избавившись от своего школярского начетничества, Пумпянский написал несколько действительно интересных литературоведческих работ, а его предисловие к собранию сочинений Тургенева можно назвать даже выдающейся работой. Он был прав, что он не Тептелкин, но он, на свою беду, послужил материалом для создания Тептелкина, и я, встречаясь с ним потом еще в течение почти целого десятилетия, не мог не видеть в нем Тептелкина.

А Вагинов, написав свою злую и смелую книгу, остался тем, кем был раньше — робким, скромным, застенчивым добряком-чудачиной. Он женился, но по-прежнему жил в поразительной бедности, настолько для него правильной и естественной, что, кажется, он ничуть ею не тяготился. Из года в год ходил он в одном и том же заношенном бобриковом пальтишке, в детской шапке-ушанке, набитой ватой и завязывавшейся под подбородком. Как многие люди той эпохи, он был безразличен ко всякому, даже элементарному, комфорту. Если у него появлялись хоть небольшие деньги, он тратил их на книги. Любимейшее его занятие было — выйти утром из дома и до вечера обойти все букинистические лавки, ларьки и развалы города. В каждой лавке оставался он подолгу, перелистывал множество книг — прочет десять страниц по-итальянски, потом пятнадцать по-французски. Букинистов называл он по имени-отчеству, и они тоже звали его Константином Константиновичем и приглашали в комнату за лавкой попить чаю. Покупал он книги только редчайшие — томики итальянских или латинских поэтов, изданные в шестнадцатом веке, — или диковинные: старинные сонники, руководства по поварскому искусству. Вообще, он был тончайший любитель и знаток старинных вещей и старинного обихода. Он, например, прелестно танцевал менуэт. Где-нибудь на вечеринке, немного выпив, он вдруг отходил от стола и, счастливый, начинал выделять изящнейшие па восемнадцатого века, — танцевать ему приходилось одному, потому что в нашем кругу не было дам, умевших танцевать менуэт. Из любви к старинному обиходу он долго жил без электричества и освещал свою комнату только свечами. Это кончилось тем, что его сосед, электромонтер по профессии, думая, что Вагинов не проводит

у себя электричества из бедности, сам достал провод, соорудил у него все, что надо, ввинтил лампочки, а Вагинов из деликатности не посмел отказаться.

Вообще, он был человек на редкость деликатный и милый, и я любил с ним встречаться на наших скромных пиршествах, устраиваемых время от времени то в одной, то в другой литераторской квартире. Пил он умеренно, выпив, становился еще милее, но имел одну странность, известную всем его друзьям: любил прятать недопитые бутылки с вином за шторы или под стол. У него всегда был страх, что вина не хватит до конца пиршества. В одном его стихотворении так сказано:

И стало страшно, что не хватит
Вина средь ночи.

(SS, 180)

В конце двадцатых годов и в начале тридцатых мы с ним каждый месяц встречались в бухгалтерии «Издательства Писателей в Ленинграде» и долгие часы просиживали вместе, ожидая, когда кассир привезет из банка деньги. Директор издательства Самуил Миронович Алянский, прекрасный человек, создавший некогда издательство «Алконостъ», друг Блока, Федина и многих других писателей, установил такой порядок: деньги, причитающиеся литератору по договору, выплачивались не в сроки, предусмотренные договором, а небольшими суммами помесечно. Это было выгодно издательству, но мы мирились с этим, потому что это давало нам возможность рассчитывать бюджет на несколько месяцев вперед. Вагинов получал 100 рублей в месяц, и это было все, на что он жил с женой.

В эти годы он больше сил отдавал прозе, чем стихам, но продолжал писать и стихи. Его стихи становились все понятнее и проще. Вот как изображал он в стихах свою тогдашнюю жизнь:

Два пестрых одеяла,
Две стареньких подушки
Стоят кровати рядом.
А на окне цветочки —
Лавр выпиной с мизинец
И серый кустик мирта.
На узких полках книги,
На одеялах люди —
Мужчина бледносиний
И девочка жена.
В окошко лезут крыши,
Заглядывают кошки,
С истрепанною шеей
От слишком сильных ласк.
И дом давно проплеван,
Насквозь туберкулезен,
И масляная краска
Разбитого фасада,
Как кожа шелушится.
Напротив, из развалин,
Как кукиш между бревен
Глядит бордовый клевер
И головой кивает,

И кажет свой трилистник,
 И ходят пионеры,
 Наигрывая марш.
 Мужчина бледносиний
 И девочка жена
 Внезапно пробудились
 И встали у окна.
 И, вновь благоухая
 В державной пустоте,
 Над ними ветви выются
 И листьями шуршат.
 И вновь она Психеей
 Склоняется над ним,
 И вновь они с цветами
 Гуляют вдоль реки...

(SS, 164-165)

Он, действительно, был в те годы "бледносиним", потому что болел туберкулезом. Чахотка промучила его лет семь и в конце концов свела в могилу.

Вот другое стихотворение о себе самом:

Он с каждым годом уменьшался
 И высыхал
 И горестно следил, как образ
 За словом оживал.

С пером сидел он на постели
 Под полкою сырой,
 Петрарка, Фауст, иммортели
 И мемуаров рой.

Там нимфы нежно ворковали
 И шел городской,
 Возлюбленные голодали
 И хор спускался с гор.

Орфея погребали
 И раздавался плач,
 В цилиндре и перчатках
 Серьезный шел палач.

Они ходили в гости
 Сквозь переплеты книг,
 Устраивали вместе
 На острове пикник.

(SS, 198)

Он медленно умирал. Наступала самая трагическая часть его жизни, — куда более трагическая, чем прощание с мифом, владевшим всею его молодостью. Именно тогда, когда он разделился с туманными аллегориями, достиг зрелости и почувствовал влечение к изображению живой жизни, болезнь отняла у него силы и повела к смерти. В начале тридцатых годов, в жадных поисках нового

материала, он, преодолевая слабость, принялся изучать тот Ленинград, с которым всегда жил рядом и который совсем не знал — ленинградские заводы.

Помню, много раз ездили мы с ним вместе на завод электроламп «Светлану». Мохнатая изморозь покрывала стекла трамвая, ползущего на Выборгскую сторону, а посреди вагона стоял Вагинов, — все в той же шапке-ушанке, завязанной тесемочками под подбородком, все в том же бобриковом пальто, — держался за ремень и, глядя в книгу, читал Ариосто по-итальянски. «Светлана» был завод женский — в просторных чистых цехах за длинными столами сидели работницы в белых халатах и складывали мельчайшие детали из стекла и металла. Все заводские организации — партком, завком — были в руках у женщин, и дух мягкой женственности, девчества, царивший на заводе, чрезвычайно нравился Вагинову. Он тоже там всем полюбился, — добротой скромностью и столь необычной старинной учтивостью.

— Славно, — сказал он мне как-то, когда мы возвращались с ним со «Светланы». — Совсем как бывало в Смольном институте.

Потом мы с ним встретились на другой совместной работе: мы оба приняли участие в составлении книги «Четыре поколения» — о рабочих Нарвской заставы. Книгу эту делали четыре ленинградских литератора: Сергей Спасский, Антон Ульянский, Вагинов и я, и то была интереснейшая, поучительнейшая работа. Мое участие в работе было весьма скромным, и это дает мне право сказать, что книга получилась замечательная — одна из лучших документальных книг о жизни петербургского рабочего класса с восьмидесятых годов до середины первой пятилетки. Душой этого дела был даровитый писатель Антон Ульянский, бывший типографический рабочий, автор нескольких очень хороших повестей и рассказов, ныне несправедливо забытый. В течение нескольких месяцев все дни мы проводили на заводах, разговаривали с рабочими и записывали их рассказы. Борьба рабочего класса и великая русская революция, преобразившая мир, была для этих жителей Нарвской заставы делом своим, домашним, удивительно конкретным — каждую забастовку за последние пятьдесят лет помнили они во всех подробностях, продолжали ожесточенно упрекать друг друга за то, что поверили Гапону, увлеченно рассказывали о подвигах красноармейцев в восемнадцатом году, и большевиков, партию называли просто: мы. Вагинову, с его острейшим чувством истории, с его пронзительной любовью к родному городу, все это было глубоко интересно. Как ни странно, перед ним открывался новый мир, с которым он всю жизнь жил рядом и которого совсем не знал. К работе он отнесся влюбленно и, с постоянно повышенной температурой, упорно ездил на заводы, пересиливая себя. Но силы его быстро убывали.

Поздней осенью Литфонд отправил его на зиму в Крым, в туберкулезный санаторий. До тех пор он никогда не бывал на юге, да и вообще никогда не расставался с родным своим городом, если не считать восемнадцатого-девятнадцатого года, когда он служил в Красной Армии. И вот он ехал в Крым. Все уже знали, что он обречен. Знал это и он сам.

Вот стихотворение, написанное им, умирающим, в зимнем Крыму, о том, как он в санатории слушал «Кармен»:

Вступил в Крым в зеркальную прокладу,
Под градом желудей оркестр любовь играл.
И точно призраки со всех концов Союза
Сояли зрители и слушали Кармен.

Как хороша любовь в минуту увяданья,
Невыносим знакомый голос твой,
Ты вечная, как изваянье,
А слушатель томительно другой.

Он, как слепой, обходит сад зеленый
И трогает ужасно лепестки,
И в соловьиный мир, поющий и влюбленный,
Хотел бы он, как блудный сын, войти.

Декабрь 1933. Ялта.

(SS, 206)

Вернулся он в феврале, и был уже так слаб, что не мог сам подняться к себе на третий этаж. Помню, как он вышел из извозничьей пролетки, и мы долго стояли с ним вдвоем перед дверью его дома на засыпанной снегом солнечной улице в ожидании людей, которые внесут его навёрх, и как он ласково и кротко озирался, счастливый тем, что снова в Ленинграде. Через несколько дней он написал стихотворение «Ленинград»:

Промозглый Питер легким и простым
Ему в ту пору показался.
Под солнцем сладостным, под небом голубым
Он весь в прозрачности купался.

И липкость воздуха, и черные утра,
И фонари, стоящие, как слезы,
И липкотеплые ветра
Ему казались лепестками розы.

И он стоял, и в северный цветок,
Как соловей, все более влюблялся,
И воздух за глотком глоток
Он пил и улыбался.

И думал: молодость пройдет,
Душа предстанет безобразной
И почернеет, как цветок,
Мир обведет потухшим глазом.

Холодный и язвительный стакан,
Быть может, выпить нам предется,
Но все же роза с стебелька
Нет-нет и улыбнется.

Увы, никак не истребить
Виденье юности беспечной.

И продолжает он любить
Цветок прекрасный бесконечно.

Январь 1934.
(SS, 207)

Вообще, он очень много писал в последние дни своей жизни. За месяц до смерти он пришел ко мне и, лежа у меня на диване, рассказывал мне о романе, который пишет. Роман назывался *Собираатель снов* (pub. as *Гарпагониада*, (Ann Arbor: Ardis, 1983) eds.) и главным его героем должен бы быть человек, который коллекционирует сновидения.

Нужно сказать, что Вагинов сам всю свою жизнь был коллекционером, и в этом заключалась одна из характернейших его черт. В отрочестве он коллекционировал старинные монеты. Потом стал собирать спичечные коробки, — когда их не собирал еще никто. Одно время он коллекционировал ресторанные меню и всевозможные рецепты приготовления разных диковинных блюд. Всю свою жизнь собирал он старинные, странные и редкие книги. В *Козлиной песне* есть персонаж, — Костя Ротиков, — который коллекционирует безвкусицы; и хотя персонаж этот изображен резко отрицательно, все же чувствуется, что коллекция безвкусиц, собранная Костей Ротиковым, весьма интересна самому автору.

В коллекционерстве Вагинова никогда не было ничего спортивного, не малейшего стремления превзойти кого-либо, похвастаться обладанием того, чего у других нет. Собираемые предметы интересовали его, потому что отражали жизнь, историю, общественные вкусы и взгляды. Старая флорентийская монета рассказывала ему об итальянском Возрождении больше, чем он мог прочесть в любом исследовании. По картинкам на спичечных коробках он умел прочитать и быт, и людские мечты. Но ведь коллекция человеческих снов может рассказать о людях еще больше, чем коллекция монет или ресторанных меню! И герой его будущего романа для того, чтобы собрать коллекцию снов, должен был знакомиться с множеством самых разных людей — с влюбленными, с полами, с портными, со старыми няньками, с бывшими царскими сановниками, с подлецами, с ханжами, с мечтателями, со школьниками, с ворами, с бухгалтерами, с профсоюзными работниками, с продавцами, с проститутками, и так далее, и так далее, — и поиски этих знакомств должны были ставить его в самые странные положения, вовлекать его в самые удивительные приключения. А так как сон, по утверждению Вагинова, нельзя изобрести, ибо подлинный сон нелогичен, а все, что изобретается нами, невольно подчинено логике, Вагинов сам занялся собиранием снов для коллекции своего героя. Он рассказал мне, как он выпрашивал сны у больных в туберкулезном санатории, где лечились люди самых разных профессий.

Помню, я начал с ним спорить. Не то, чтобы я совсем не почувствовал прелести его своеобразного замысла, — напротив, я вполне оценил его, — но меня самого, как литератора, тянуло в другую сторону. Я стал доказывать, что действительность удивительнее любых самых удивительных снов. Он слушал меня, как всегда, кротко и терпимо, а я горячился все больше, так как догадывался, что мысль моя, несколько не странная и лишенная всякого чудачества, именно потому и кажется ему плоской и антипоэтической. В пылу спора я торопливо глотал все, приготовленное моей женой, чтобы накормить гостя, — и забывал его потчевать. И

деликатнейшему Вагинову не досталось почти ничего, за что я потом получил нагоняй от жены, вполне мною заслуженный. Незавершенный роман свой о сновидениях Вагинов за несколько дней перед смертью передал Николаю Семеновичу Тихонову; не знаю, сохранилась ли у Тихонова эта рукопись.

Умер Вагинов в конце апреля 1934 года. Многие пошли провожать его на Смоленское кладбище. Помню плачущего Сережу Колбасева, помню Тихоновых, Федина, Всеволода Рождественского, Михаила Фромана и жену его, Иду Наппельбаум. Тут я впервые увидел отца Вагинова: маленький лысенький старичок, удрученный и тихий, он теперь служил кассиром в какой-то артели, и во внешности его не было ничего ни полковничьего, ни жандармского, ни миллионерского.

День был удивительный, весенний, теплый, влажный, солнце сияло в чистейшем небе, но город тонул в туманной дымке, и перед похоронной процессией неожиданно выплывали его колонны, фронтоны и шпили. Вагинов медленно ехал в гробу через Неву по мосту лейтенанта Шмидта, и Филострат, незримый, шел рядом, и роза со стебелька улыбалась ему в последний раз.